

Между праславянским и русским

Author(s): George Y. Shevelov

Source: *Russian Linguistics*, Vol. 6, No. 3 (Jun., 1982), pp. 353-376

Published by: Springer

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40159977>

Accessed: 11-01-2024 18:26 +00:00

---

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

*Springer* is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Russian Linguistics*

## REVIEW ARTICLE

GEORGE Y. SHEVELOV

### МЕЖДУ ПРАСЛАВЯНСКИМ И РУССКИМ

*Мы не предлагаем ни на чем не основанных гипотез и не предаемся лингвистическим мечтаниям (вошедшим, увы, в моду в молодую науку о русском языке).  
А. Соболевский (1903)*

Поводом к написанию этой статьи послужили две книги Георгия Хабургаева, “Этнонимы Повести временных лет в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза”, Москва (Государственный университет) 1979, и “Становление русского языка”, Москва (“Высшая школа”) 1980, цитируемые далее соответственно как ЭПЛ и СРЯ. Вторая в значительной степени повторяет первую, но кое в чем дополняет ее, а в некоторых вопросах подвергает ее положения пересмотру.

Еще не так далеки годы (до так называемой сталинской “языковедческой дискуссии” 1950 г.), когда обращение к праславянской реконструкции считалось проявлением расизма, а запрещенный термин заменялся робкими эвфемизмами типа “языка-основы” или (например, у Булаховского) весьма расплывчатого “древнейшего славянского языка”. Этот запрет уже почти забыт, но другие табу продолжают тяготеть над исследователем. К ним относятся, к примеру, представление о развитии славянских и в частности восточнославянских языков как в основном процессе дробления языка; не всегда это формулируется, но обычно в основе курсов истории славянских языков лежит представление о распаде праславянского языка на три группы – южную, западную и восточную; а общевосточнославянский, он же именуемый древнерусским, затем, то ли в 12, то ли в 13–14–15 веках появляется в троичной ипостаси трех восточнославянских языков, русского, белорусского и украинского.

Поэтому действуют поистине освежающе такие утверждения Х., как: [нет] “оснований считать, будто распад праславянского единства имел следствием выделение трех племенных объединений, каждое из которых лежит в основе трех современных славянских групп” (ЭПЛ

102; не очень грамотно сформулировано, но в счет идет мысль); или: “Современное членение славян на южных, восточных и западных вряд ли является результатом распада монолитной праславянской общности непосредственно на три группы” (СРЯ 63); или: “...наиболее близкие друг другу в структурном отношении говоры [оказываются] в составе разных языков..., а менее близкие в составе одного языка” (ЭПЛ 9); или: “Районы межзонального диалектного взаимодействия... вполне определенно отражают процессы «размывания» границ позднедревнерусских [об этом термине и понятии ниже – G. S.] диалектных зон в связи с формированием новых диалектных... объединений, включавших говоры разных объединений предшествующего времени” (ЭПЛ 67), а история современных восточнославянских языков – “это история переоформления древнерусских диалектных зон, а не история их сложения” (там же), и “основной тенденцией языкового развития раннего древнерусского периода (IX–XI вв.) была интеграция диалектов тех племенных группировок, которые вошли в состав древнерусской народности” (ЭПЛ 227; о термине опять ниже).

Есть в работах X. и другие утверждения, которые нельзя не приветствовать. Таково разъяснение, что термин *русский* по отношению ко времени до 14 века имел совершенно другое значение, чем теперь, и второе значение никоим образом не является прямым продолжением первого (СРЯ 15); что *Великая Русь* относилась не к превосходству над *Малой Русью*, а к позднему времени колонизации (СРЯ 15); весьма уместно критическое замечание об ограниченности значения лексических изоглосс для целей реконструкции (СРЯ 69; оно особенно уместно сейчас, когда большие надежды возлагаются на готовящийся карпатский атлас, который этих надежд, безусловно, не оправдает); здоровое ядро наличествует и в попытке доказать, что во время составления первоначальной летописи, в первой половине 11 в., племена уже были заменены территориальными объединениями (ЭПЛ 94, 182), хотя более дифференцированный подход к разным ареалам не повредил бы здесь.

Да, все эти высказывания правильны, и время для них давно назрело. Но есть в них два больших *но*. Одно относится к тому, что они, увы, весьма не новы, не новее, чем “открытие” праславянского языка в 50-х годах. Второе “но” заключается в том, что сам X. далеко не всегда их придерживается. Скажем несколько слов о том и о другом.

Открытие давно открытых истин в работах X. объясняется его игнорированием дореволюционных исследований и катастрофическим умолчанием о поисках западной славистики. Если пройти через библиографию ссылок X. в ЭПЛ, окажется, что из старых работ он упоми-

нает, не считая Шахматова, работами которого он увлечен, исследование Голубовского о печенегах, статью Соболевского о Литве и Ильинского о “лужанах” и историческую географию Барсова – да вот и почти все. За бортом остались Будде, Леонид Васильев, Данилевич, Довнар-Запольский, Голубовский (о Северской земле, 1881 и о Смоленской, 1894), Грушевский, Зеленин, Иловайский, Каринский, Кочубинский, Любавский, Погодин, Самоквасов, почти весь Соболевский, Фасмер (кроме его этимологического словаря), Чернышев... Конечно, кое-что в этих работах устарело, но далеко не все.

Полному затемнению подверглась западная славистика. Цитируется только то немногое, что переведено и издано в России, да еще раз или два польские ученые – Лер-Сплавинский, К. Мошинский и один раз словинец Нахтигал. Французские, немецкие, английские, американские исследования не существуют. Или надо считать ссылкой на них упоминание о “буржуазной концепции общества”, без дальнейших уточнений (ЭПЛ 7)? Неизвестно, имеем ли здесь дело с незнанием или с сознательной установкой на игнорирование всего, что от лукавого, как она проявилась в пресловутой “энциклопедии” “Русский язык” под редакцией Ф. Филина (Москва 1979), которая нашла должную оценку в *Russian Linguistics* (5, 2, 1981). Это проявление шовинистического самоограничения нашло свое отражение особенно во второй книге Х., СРЯ. При полном отсутствии ссылок на западные публикации Х. умудрился в небольшой книге тринадцать раз сослаться на Филина. Если дело здесь в сознательной ориентации, то Х., надо сказать, перегнал Филина. У последнего, в его собственных работах, все-таки не полностью исключена западная наука: иногда он ссылается на отдельных ученых, называя их по имени, иногда он полемизирует с “некоторыми зарубежными учеными”, под каковым эвфемистическим ярлыком иногда я имел удовольствие узнать и себя.

А между тем приходится констатировать, что все положительные “новые слова” Х. уже были высказаны на Западе. Я позволю себе сослаться на собственные работы, не потому что они вводят все эти идеи, а потому что они приводят обширную библиографию предшествующих высказываний. Итак, критика исторического значения попыток разделения славян на три традиционных группы положена в основу моей *A Prehistory of Slavic* (Гейдельберг, 1964; Нью-Йорк, 1965. В дальнейшем – ПС), напр., стр. 2–3, 610 и особенно 611. Характеристику процесса формирования современных трех восточно-славянских языков, как главным образом перегруппировки более древних диалектов, Х. мог бы найти в моей работе еще 1953 г. *Problems in the Formation of Belorussian* (Нью-Йорк, Linguistic Circle of New York, в

дальнейшем ПФБ), напр., стр. 69, 92–93, включая даже термин “размывание” (erosion, в случае Полесья bilateral erosion – 69). То, что Х. в 1980 г. говорит о двух значениях термина *русский*, почти буквально повторяет сказанное мной в 1979 г. (*A Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Гейдельберг, Carl Winter Universitätsverlag, стр. 30. В дальнейшем ИФУ). Сказанное Х. о терминах Великая и Малая Русь (Россия) повторяет данные и выводы Э. Борщака в *Revue des études slaves* 24 (1948). И, разумеется, не обязательно авторы, тут упомянутые, были первыми, высказавшими “взгляды Х.”<sup>1</sup>

Все здесь сказанное о “недосмотрах” в работах Х. бросает свет на печальное состояние одного сектора, и при этом наиболее покровительствуемого, русского языкознания наших дней в СССР. Само собой, было бы грубой ошибкой распространять это замечание на все русское советское языкознание, в котором работают, например, О. Трубачев, В. Топоров, Вяч. Иванов, Ю. Апресян и др. Однако и то является заслугой Х., что, оставаясь в “официальном” секторе русской лингвистики, он все же “открыл” некоторые аспекты исторического процесса становления русского языка.

Однако далеко не всегда он провел свои “открытия” последовательно. Нередко он противоречит сам себе и, отвергнув то или другое хотящее ложное представление возвращается к нему и следует ему. Например, справедливо проявив скептическое отношение к важности и необходимости отыскания прародины славян, он затем все же пытается ее установить (“к западу от слияния Припяти и Днепра” – ЭПЛ 81). Ограничив теоретически роль дробления в истории славянских языков, он фактически исходит из дробления в описании большинства исторических процессов (напр. СРЯ 85–86) и т. д. Нет четкости у Х. в разграничении племенных и территориальных диалектов, а это одна из центральных проблем в его работе.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу об уровне работ Х. Мы вернемся к нему в конце статьи. Теперь же будет уместно сказать о главном в его книгах – о трактовке процесса образования (становления) русского языка. Опуская детали, можно свести его взгляды в основном к следующему: из праславянского языка не выделялся единый восточнославянский праязык (как не выделялись и южнославянский или западнославянский); праславянский язык распался на племенные диалекты; эти диалекты затем вошли в территориальные диалектные объединения; племена, упоминаемые в начальной летописи, уже не существовали в эпоху ее создания – одни из них были известны составителю летописи по именам из исторических преданий, другие названия уже, как вытекает из анализа их морфологического

состава, в действительности относились к территориям; под влиянием возникшей к этому времени древнерусской державы славянские диалектные объединения как и славянизированные финские и балтские племена (или территориальные объединения?) языково объединились в один и единый древнерусский язык; катастрофа “татаро-монгольского” нападения положила конец единству этого языка; в последующие столетия, 14–15, на основе новой политической конфигурации (Москва – Литва – Польша) начали формироваться три известные всем восточнославянских языка.

Уже при первом взгляде на эту схему бросается в глаза ее, может быть, самое слабое звено:<sup>2</sup> утверждение о единстве и о самом существовании “древнерусского языка”, якобы создавшегося в условиях централизованной Киевской Руси. Подчеркиваем: речь идет не о литературном языке, который действительно был в своей (церковнославянской) основе единым (но больше под влиянием церкви, чем государства), а о разговорном. Х. нигде не устанавливает хронологических рамок единства Киевской Руси. Фактически можно говорить о таком (относительном) единстве, да и то исключая полоцкую землю, только для времени Владимира и Ярослава (980–1017, 1019–1054). Но семьдесят лет даже в современном СССР, в условиях развитого транспорта, урбанизации, всеобщего образования, повсеместного радио, кино и телевидения, при жесткой ассимиляционной политике, не создали единства разговорного языка. А всего этого не было в том “СССР 11 века”, каким представляет себе Киевскую Русь Х. Существование даже того “городского койне”, которое постулировал Шахматов, сомнительно, а что уж говорить об основном земледельческом населении, разбросанном в безграничной и бездорожной лесной глуши! Еще так-сяк можно представить себе распространение из Киева или Новгорода отдельных слов, труднее найти условия и возможности для единства фонетического и морфологического развития, а уже совершенным мифом является утверждение об унификации разговорного языка от Балтийского до Черного моря и от польской границы до Волги. Впрочем Х. и не пытается доказать, что единый древнерусский язык действительно существовал. Он принимает это за аксиому. Если не было, надо выдумать.

В защиту этой аксиомы Х. мог бы привести факты языковой ассимиляции финских и балтских племен, а также варягов. Однако ассимиляционные процессы у Х. тоже явно преувеличены. Ятвяги существовали еще во второй половине 13 в. и были не столько ассимилированы, сколько истреблены. Голядь продержалась до 12 в. Объяснение полногласия воздействием балтского субстрата (СРЯ 112–113)

полностью опровергается наличием полногласия в севернорусском и украинском. Однако активная языковая ассимиляция неславянских народностей действительно происходила в довольно широком масштабе, особенно если – не без оснований – принять, что Новгород и Псков были заселены славянами с юга раньше, чем территория среднего Днепра, находившаяся первоначально в балтских руках (Х. в ЭПЛ 138, 108–111, чтобы избежать этого допущения, готов принять, правда, с оговорками, лехитское происхождение первых новгородцев; эта не новая, но фантастическая теория повторяется в СРЯ 80, 81). Но славянизация балтских и финских народностей была ассимиляцией не единому “древнерусскому языку”, поддерживаемому государственным авторитетом, а местным говорам в условиях подчинения или сожительства. Что касается варягов, то их ассимиляция была результатом не большей социальной и хозяйственной инициативы славяноязычного населения (ЭПЛ 222), которой ни Х., ни кто-либо другой не мог бы доказать, а мужского состава варяжских поселенцев, что служило причиной их браков со славянскими женщинами. Конечно, и здесь усваивался местный диалект, а не мифический общегосударственный язык.

Но может быть Х. имеет в виду не унификацию разговорного языка, а общность инноваций? Если судить по результатам, то таковая в самом деле как будто имела. Х. такие инновации перечисляет (СРЯ 82–83). К более подробному рассмотрению его списка фонетических изменений мы еще вернемся, но сначала обратимся к общей постановке вопроса и посмотрим, не имеем ли мы здесь дела с тем, что Е. Курьялович (1962) метко назвал “фикциями сравнительного языкознания”. Традиционное сравнительное языкознание работает на молча и без доказательств принятом взгляде, что общие результаты языкового развития на соседящих языковых ареалах говорят об общности развития. Вот, например, гласные *ъ* и *ь* в сильной позиции (избегаю традиционного названия их редуцированными гласными, так как нет никакого доказательства их редуцированности в сильной позиции) рефлектируются соответственно (игнорируя аканье) как *o* и *e* в русском, белорусском и украинском языках. Отсюда вывод, что это изменение было общим на всей восточнославянской территории. Но вот в македонском рефлекс *ъ* и *ь* тоже *o* и *e*. Принять общность изменения здесь невозможно, так как между восточнославянскими говорами и македонскими лежат болгарские или, если избрать другой “маршрут”, сербские, в обоих случаях с иными рефлексам. Volens polens приходится принять, что в случае македонского языка рефлекс *ъ*, одинаковый с восточнославянскими, развились независимо. Но если развитие в Охриде и в Киеве в этом случае было параллельно,

но отдельно, а результаты одинаковы, то где доказательства его общности в Киеве и Новгороде? Ведь расстояния здесь почти одинаковы. Сомнение превращается в уверенность, если обратиться к хронологии. В области Киева изменение *ъ* и *ь* в *о* и *е* произошло в середине 12 в., в области Новгорода и Суздаля–Ростова в середине 13 в. (ИФУ 260). О каком же общем развитии можно говорить, если посредине пролегает столетие, смена нескольких поколений? Не уместнее ли говорить и здесь о параллельности развития, обусловленной общей исходной точкой – структурой языка, восходящей еще к праславянскому? Для X. это, конечно, не объяснение, так как он склонен начисто отвергнуть структурные факторы в развитии языка (“Объяснить все эти процессы могут только факты истории народа, а не особенности языковой структуры, которые в историческом плане сами требуют объяснения” – СРЯ 24. Изредка, правда, X. пробует обратиться к структурным факторам, но очень редко и весьма упрощенно, чтобы не сказать “вульгаризируя”, понимая их как своего рода фаталистическое подчинение требованиям элементарной симметрии – ср. его трактовку развития *е* и *о* в русских говорах – ЭПЛ 59).

В случае *ъ* и *ь* разницу в хронологии нам помогает установить наличие памятников, кстати, материал, к которому X. обращается исключительно редко и явно неохотно. Этого вспомогательного материала у нас не может быть в распоряжении, когда мы имеем дело с доисторическими изменениями. Но ситуации и там возникают параллельные, и, по крайней мере, настороженность по отношению признания общности фонетических процессов была бы тоже не вредна. Общеизвестный пример – развитие праславянского *\*tj* любого происхождения. В восточнославянском оно изменилось в *щ* – то же произошло в отрезанном другими языками словенском языке. Для словенского принимается отдельное развитие, для проторусского и протукраинского – общее. Была ли здесь разница в хронологии, мы не знаем. Возможность независимых параллельных процессов увеличивается тем обстоятельством, что развитие *\*dj* не было одинаковым в восточнославянских областях.

А еще следовало бы принять во внимание огромность славянской территории, которая не могла не затруднять совместности фонетических или морфологических изменений. В самом деле, составители схем языкового развития, вероятно, никогда не дали себе труда даже простого путешествия по бездорожью. Они действуют по карте. Тогда нет ничего легче, чем передвинуть лехитов в область Новгорода и принять общность фонетического изменения в Тмутаракани и Ладого. Ведь это всего только несколько сантиметров!



Но даже если мы забудем на несколько минут о структурных и географических факторах, мы неизбежно наткнемся на другое уязвимое место в построениях Х. Если общевосточнославянские черты (как он их понимает) отражают “процесс консолидации населения в единую (древне)русскую народность” (СРЯ 99), обусловленный и осуществленный политическим единством Руси приблизительно в пределах 980–1054 г.г., то по крайней мере в общих чертах они должны были возникнуть в границах этого периода. Х. перечисляет эти черты на стр. 82–83 СРЯ. Посмотрим же на их хронологию:

- (1) Полногласие – середина 8 – середина 9 в. (ПС 417, ИФУ 97);
- (2) Начальные сочетания *RoC-*, *LoC-* под циркумфлексной интонацией (Обозначение согласных знаком *C*(onsonant) – мое. *G.S.*) – середина 8 – середина 9 в. (ПС 396, ИФУ 97);
- (3) *CorC*, *ColC*, *CerC* из *CьrC*, *CьlC*, *CьlC*, *CьrC* – около 1164 г. (ПС 482, ИФУ 286);<sup>3</sup>
- (5) *ь > o*, *ь > e* в сильной позиции – около 1164 г. (ПС 459, ИФУ 243);
- (6) *tl*, *dl > l'* – между 600–850 (ПС 373, ИФУ 81);
- (7) *q > u*, *ε > 'a* – середина 10 в. (ПС 584, ИФУ 139);
- (8) *ě* как гласный переднего ряда. Под этой едва ли не умышленно расплывчатой формулировкой скрываются разные рефлексy *ě*: в северозападном проторусском (*i)e ~ i*, в северовосточном проторусском *æ* (Соболевский 35; Аванесов 1955, 91), в протобелорусском *e* (Wexler 1977, 120), в протоукраинском *ie > 'e* (ИФУ 199). Ни один из этих рефлексов не стал “общедревнерусским”, и появление их не поддается увязке с фонетическими изменениями в пределах “древнерусского” периода;
- (9) *kv*, *gv + ě (< oi) > cv*, *zv + ě* – не позже 8 в. (ПС 303);
- (10) губной + *j > губной + l'* – не позже 9 в. (ПС 222, ИФУ 72);
- (11) *tj*, *dj > č*, *ž* – 7–8 в. (ПС 216, ИФУ 70, Shevelov 309);
- (12) *je- > o-* “в известном круге корней” – конец 9 ст. (ПС 427, ИФУ 167).<sup>4</sup>

Таким образом после того, как мы принуждены были отбросить две из перечисленных двенадцати особенностей как не общевосточнославянские, из остающихся (некоторые с натяжкой) десяти особенностей восемь (1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12) оформились до возникновения Киевской Руси как относительно централизованного государства, а остальные две (3 и 4) по крайней мере через сто лет после ее распада. Атомистически и безответственно нагроможденные Х. черты раннего восточнославянского фонетического развития не подтверждают идеи (если действительно Х. хотел показать именно это), будто бы государственность Киевской Руси была фактором, определившим общность

восточнославянского языкового развития – равно как она не была и, как мы видели раньше, и фактором, обеспечившим полное устранение консервативных особенностей соответствующих говоров.

Теоретически можно было бы еще говорить о направлении распространения инноваций. Действительно, некоторые инновации, как например, падение *ъ* и *ь* происходили в Киеве, центре государства, раньше, чем в северных областях Руси, окраинах этого государства. Но тогда надо указать на то, что еще раньше эти изменения охватывали южнославянский ареал и по меньшей мере большую часть западнославянского ареала, и тогда пришлось бы говорить о более быстрых темпах однотипного развития, скажем, в Болгарии, чем на Руси, а между тем киевская территория не была периферией болгарского государства. Следовательно направление распространения инноваций не имеет отношения к древнерусской государственности и не подкрепляет взглядов Х., которые исходят, сознательно или бессознательно, не из языковых фактов, а из политических концепций, навязываемых истории. К тому же в отношении многих процессов языкового развития (например, полногласие) центр их иррадиации не установлен и, может быть, не восстановим. Если бы Х. удалось этот центр определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы. Его вполне удовлетворяет голое перечисление разновременных, разноместных и, может быть, разнонаправленных фонетических черт.

Увы, опять таки сознательно или бессознательно, история часто бывает современностью, проецированной в прошлое. Хотел ли Х. или нет, его акцентировка единства государственного “древнерусского” языка и ассимилирующей силы этого языка приводит в память тезис о возникновении в современном СССР единого советского народа (с его, подразумевается, единым русским языком), пущенный в обращение в 1961 г. Н. Хрущевым, подхваченный в 1971–1972 г. Л. Брежневым и включенный в некоторые партийные документы (Bilinsky 1980, 88–99). Возьмем такой текст:

Советская историческая наука приходит к выводу, что своеобразие формирования народности заключается в том, что, в отличие от племенной конфедерации, эта социально-этническая категория складывается из неоднородных лингвоэтнических компонентов в связи с их консолидацией в составе единого территориально-политического объединения.

Это могло бы быть, за исключением упоминания о племенах, отрывком из речи или статьи о современном СССР. Но нет, это пишет Х. (СРЯ 104), и это относится к Древней Руси.

Но вернемся к общей схеме восточнославянского языкового развития в работах Х. Она включает еще одно утверждение, восходящее к Шахматову и принимаемое без доказательств и по существу дела не только не необходимое в этой схеме, но даже противоречащее ей. Как известно, Шахматов принимал исконную противоположность северной группы восточнославянских говоров, развившуюся позднее в севернорусские диалекты, южной группе. Эта противоположность, говорят нам, проявлялась в том, что север знал цоканье, а юг не знал, а с другой стороны, на юге  $g > \gamma$ , чего не было на севере. Шахматов также выделял на юге “восточную” группу, послужившую основой южнорусским и белорусским говорам, развившую аканье. Х. воспроизводит эти взгляды Шахматова и принимает как свою вторую “аксиому” положение о фонетическом развитии  $\gamma$  на юге и цоканья на севере. В отношении аканья он проявляет некоторую неуверенность.

Можно понять, почему Х. вынужден был обратиться к схеме такого типа. Дело в том, что его теоретическая стадия племенных диалектов очень привлекательна исторически и, вероятно, соответствовала действительному положению вещей. Но мы не знаем, насколько эти славянские племенные диалекты удалились от праславянского языка, а насколько они сохраняли его черты. Короче говоря, у нас фактически нет никаких данных о строе и структуре этих предполагаемых племенных диалектов. Лингвистически говоря, они для нас не существуют. Может быть, языкознание будущего их откроет. Х. этого не сделал, да и не пытался сделать. (Нельзя ли было бы обнаружить следы староплеменных диалектов в более поздней географической дистрибуции тех явлений, которые характеризуются разбросанностью и отсутствием сплошных широких ареалов, например, распределения форм с *кв-* и *цв-* типа *цвет – квет*?) Высказав предположение, преподнесенное как доказанное положение, о существовании племенных диалектов, он, по необходимости, переходит к характеристике языковых особенностей более крупных территориальных единиц. Здесь ему легко оперировать, ибо до него это делал Шахматов. И Х. восторженно и в высшей степени некритически повторяет сказанное своим выдающимся предшественником.

Но это кажущаяся легкость, и на самом деле она заводит Х. в волчью яму. Пленяющие легкостью своего творческого полета глоттогонические построения Шахматова были в высшей степени спекулятивны уже для своего времени. Вдобавок они платят тяжелую дань “фикциям сравнительного языкознания”. В наше время они частично опровергнуты фактами, установленными за те три четверти века,

которые прошли со времени Шахматова. А так как их фактический фундамент вообще не велик и шаток, даже один выбитый из него камень угрожает падением всего сооружения.

Легко принять вслед за Шахматовым и Х. цоканье как характерную черту древних северных (северо-западных) проторусских говоров, в частности Новгорода. Правда, и здесь открываются новые горизонты, которых Х. не замечает. Наблюдения Глускиной об особенностях второй и третьей палатализации заднебных (1966, 1968), подхваченные Штибером (1974, 114) и более умеренно толкуемые мной (Shevelov 1971, 311), открывают новые возможности трактовки цоканья и позволяют отчасти вывести его за границы севернорусских диалектов с переброской мостов, например, в говоры к востоку от Москвы. Все это, может быть, позволит ограничить и роль финского субстрата, к которой так легко прибегает Х., тем легче, что ничто в его работах не изобличает действительного знания финских языков. Но, если оставить все эти моменты в стороне, основной тезис о присущести цоканья типичным славянским северным (точнее северо-западным) говорам Восточной Европы и о доисторическом происхождении этого явления выдержал испытание временем.

Совсем иначе обстоит дело с *у* как рефлексом *g* в качестве решающего признака “южной” группы, прародительницы (в комбинации с “восточной” группой или без нее) южнорусских, белорусских и украинских диалектов. Исходный пункт Х. (как, увы, и Шахматова) здесь – географические соображения. Поскольку рефлекс *γ/h* характеризуют всю центральную полосу славянских языков, от чешского через словацкий, верхнелужицкий, украинский и белорусский к южнорусскому, принимается – типичная “фикция сравнительного языкознания” – что спирантизация праславянского *g* была общим изменением во всех этих языках. А поскольку возможность такого общего развития допустима только в доисторическое время (там ведь все кошки серы, и комбинировать можно *ad libitum!*), то и вывод делается о доисторическом характере этой черты. И вот – дело в шляпе, даже два дела: на восточноевропейской равнине север противопоставлен югу, на юге помещены под одну крышу (прото)южнорусские, белорусские и украинские говоры.

Между тем все это чистейшая фикция. Спирантизация *g* – явление сравнительно позднее. Нет нужды воспроизводить здесь длительную дискуссию по этому вопросу. Но так как Х. не обнаружил интереса к западным публикациям, то следует все же сослаться на них, авось он решится в них заглянуть. Ограничусь краткими ссылками, касающимися соответствующих славянских языков. Высказываясь осто-

рожно из уважения к авторитету Шахматова и других лингвистов традиционной сравнительно-исторической школы, а также Трубецкого, и с оговорками, Комарек все таки склонен принять 12 век как время спирантизации *g* в чешском (1958, 54; 1963, 745). Для словацкого со всей решительностью Крайчович 1975, 81 и далее принимает 12 век. Уэкслер 1977, 99 неуверенно принимает для белорусского 10 век, но единственное основание для этого – внутренняя связь между процессом третьей палатализации заднебных и спирантизацией *g*; но нельзя забывать, что между созданием условий для звукового изменения и самым изменением могут существовать очень длительные интервалы; остальной же материал Уэкслера говорит в пользу более позднего времени. Но даже если отнести появление *γ* к 10 веку, – это уже не могло быть общим белорусско-чешским и т. д. изменением. Для украинского со всей ясностью материал указывает на грань 12 и 13 веков (Shevelov 1977, 146; ИФУ 355). Наконец, в верхнелужицком предлагается как дата спирантизации *g* вторая половина 13 в. (Eichler 1965, 146).

Третья и по существу последняя фонетическая черта, положенная Шахматовым в основу классификации его древнерусских диалектных групп или зон – аканье, которое он возводит в его зачатках к доисторическому времени и приписывает (юго) восточной группе восточных славян, из которой он выводит позднейшие южнорусские и отчасти белорусские говоры. Здесь не место разбирать ни сложную и запутанную схему возникновения аканья у Шахматова, ни несметное количество позднейших теорий по этому вопросу. Стоит отметить только разницу во взглядах Х. на хронологию и характер развития аканья в 1979 и 1980 гг. В первой из его книг, разбираемых здесь (стр. 51), он различает более раннюю “стадию унификации безударного гласного невысокого подъема”, осторожно относимую им ко времени “не позднее XII в.”, и более позднюю, ведущую к диссимилиативным типам аканья. В своей второй книге Х. по существу примыкает ко взглядам Шахматова со всеми их противоречиями и натяжками. Диссимилиативное аканье теперь уже оказывается первичным типом (СРЯ 143), а его центральное географическое положение между зонами “сильного” (употребляю этот термин условно для обозначения недиссимилиативных и неассимилятивных типов) будто бы свидетельствует о его архаичности (145); логически из этого вытекает, да так оно и по Шахматову, что аканье распространялось с востока на запад (149), иначе говоря, употребляя современные термины, от южнорусских к белорусским говорам.

Мне уже приходилось указывать, что такое направление распростра-

нения аканья в период формирования Великой Литвы противоречило бы всем историческим данным (ПФБ 38); что принятие балтийского субстрата как важного, может быть решающего фактора в становлении аканья, равно как и общеструктурный анализ состояния (прото)-южнорусских и (прото)белорусских говоров требуют признания “сильного” аканья как первоначального, исходного типа (ПФБ 28 и далее); и что тем самым вся концепция (или, вернее, концепции, потому что он их менял) Шахматова по этому вопросу является построением совершенно фантастическим. Не повторяя здесь всех этих аргументов (см. частичную библиографию в ПС 389, отчасти в Shevelov 1971, 303), я хотел бы здесь отметить только несамостоятельность взглядов Х., а также обратить внимание читателя на его карту номер 15 (СРЯ 142). Эта карта представляет очень пластически распространение главных типов аканья в современных русских говорах, и она-то самым решительным образом опровергает схему Х. (то есть Шахматова). На территории голяди, ятвягов, старой Литвы мы находим здесь “сильное” аканье. Полосой между двумя областями “сильного” аканья тянутся говоры с разными типами диссимильного аканья-яканья. Общеизвестен принцип лингвистической географии: если на двух не связанных между собой перифериях господствует одна структура, а между ними лежит другая, то наиболее вероятно, что центральная структура вторична. В данном случае это подтверждается и историческими фактами. Парадоксальным образом Х. делает прямо противоположный вывод о первичности именно диссимильного аканья-яканья!

Вопрос о происхождении аканья-яканья не может и не должен решаться в этой статье. Он затронут здесь только, чтобы показать полную зависимость Х. в СРЯ от схемы Шахматова, а тем самым и устарелость и необоснованность его взглядов.

Здесь мы подходим к итогам оценки схемы становления русского языка, предложенной Х. и, как говорится на титульной странице, “допущенной Министерством высшего и среднего образования СССР” и т. д. Признаюсь, когда я вижу одобрение министерства на научной книге, я сразу становлюсь подозрителен, а научна ли она, эта книга? В случае Х. эта подозрительность не безосновательна. Схема его, как уже указано выше, предусматривает следующие этапы:

(1) Праславянский язык в стадии разложения как исходный пункт. Этот этап не вызывает возражений; да впрочем автор и не вдается в его характеристику;

(2) Племенные диалекты. Племена, безусловно, существовали. Возможно, что они – или некоторые из них – характеризовались диалект-

ными особенностями. Нам последние неизвестны. Х. их не показывает (и это в общем не его вина);

(3) Более крупные территориальные диалектные объединения. Здесь Х., следуя Шахматову, говорит о трех единицах, несколько обособляя в северной группе ростовско-суздальские говоры, последнее под влиянием действительно важной, хотя и не во всем доказательной книги “Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров” под ред. В. Орловой (Москва, 1970). Таким образом взгляды Х. здесь не новы и, за исключением поправки, внесенной Орловой и ее коллегами, ошибочны. В 1953 г. я предложил другие группы, в количестве четырех, из принятия существования и скрещений которых современные восточнославянские языки выводятся более естественно и с меньшим количеством натяжек. Условно я их назвал тогда по именам (позднейших) городских центров или областей – новгородско-суздальской, полоцко-рязанской, киево-полесской и галицко-подольской (ПФБ 93). Сегодня в свете новейших диалектологических исследований я предложил бы рассматривать две первые группы как двойные: новгородские и суздальские, полоцкие и рязанские. Вопрос, конечно, подлежит дальнейшей дискуссии. Работы Х. не вносят в такую дискуссию ничего существенного.

(4) Единый древнерусский язык. Ни с точки зрения исторических обстоятельств, ни с точки зрения подавления более древних диалектных особенностей, ни, наконец, с точки зрения новых (фонетических) изменений реальность такого языка не доказуема. Этот этап (если не говорить о литературном языке) – чистейшая фикция, вероятно, созданная в угоду политическим требованиям момента.

(5) Распад единого древнерусского языка и перегруппировка диалектов, в результате которой оформляются русский, белорусский и украинский языки. Если отбросить первые четыре слова, этот этап можно и должно принять. Особой новизной однако он тоже не отличается.

Таким образом из пяти этапов (нумерация моя, у Х. ее нет) первый, третий и пятый имеют за собой языковую реальность, но третий и пятый нуждаются в серьезной переоценке и перестройке. По-видимому, автор сам ощущает шаткость своего построения как целостности и пытается подвести под него археологический и ономастический фундаменты.

Археология занимает большое место в обеих книгах Х.: ей посвящена четверть ЭПЛ и многие страницы и карты СРЯ. Я не буду останавливаться на этих разделах. По двум причинам: во-первых, я, как и Х., не археолог; так или иначе все его сведения – второй руки.

Во-вторых, даже если их выбор удачен и освещение верно, они не проливают света на языковые факты. По-видимому, например, археологические данные доказывают культурные различия древних племен. Но что это дает для реконструкции языковой реальности? Носители разных типов керамики или разных типов погребения могли говорить на одном и том же диалекте, носители одного типа – на разных. В моей работе 1953 г. я тоже пытался установить параллельность языкового развития и развития материально-этнографической культуры (как делал Т. Лер-Сплавинский и многие другие). Это было ошибкой. Надо было отказаться от таких попыток. Осознает это и Х. (ср., например, ЭПЛ 28–29, СРЯ 41), но продолжает оперировать археологическими данными для лингвистического анализа.

Другое дело топонимия. Блестяще начатое К. Бугой и М. Фасмером исследование гидронимии Восточной Европы нашло прекрасное продолжение в Советском Союзе, особенно в работах О. Трубачева и В. Топорова. Много в предыстории этих областей впервые стало ясным, и использование этих достижений Хабургаевым принадлежит к положительным сторонам его работ. Однако в основном материал гидронимии показывает субстраты славян, иноязычные группы, поглощенные славянами, но не членение самих славян. За эти пределы едва ли выходит и Х. Его данные здесь тоже второй руки, но они относятся к делу.

Х. несколько оригинальнее в другой отрасли ономастики – этнонимии, которой посвящена последняя треть его ЭПЛ (стр. 158–229). Это могло бы быть и самой центральной частью обеих его работ (в СРЯ она уплотнена до менее, чем десятка страниц – 89–99). Особенность его подхода заключается в том, что он ставит в центр внимания не традиционную корневую этимологию, которой в некоторых случаях он вообще не касается, а в других трактует кратко и без подробной аргументации, а классификацию по типу словообразования. Его предшественником был Л. Мошинский, предложивший подобный подход на познанской конференции в декабре 1978 г., но едва ли Х. был знаком с соображениями Мошинского, резюме доклада которого опубликовано в *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej* 20 (1981), стр. 269.

Свою задачу Х. сузил тем, что сосредоточился на племенных названиях, упоминаемых в Повести временных лет, только эпизодически выходя за эти пределы. Основания для этого были веские. Благодаря такому отбору автор оперирует только восточнославянским материалом (не всегда в смысле этимологическом, но всегда в смысле сферы бытования), точнее киевским и отчасти новгородским, и при этом древнейшим. В основе анализа лежат восточнославянские этно-



нимы (традиционно называемые племенными наименованиями); неславянские этнонимы, главным образом финские и балтские, привлекаются только в качестве побочного материала, параллелей. Преимущества такого отбора очевидны; но он чреват и серьезной опасностью: количество таких этнонимов очень невелико – даже с добавлением некоторого материала, не находящегося в Повести временных лет (*λευζανῆνοι* Константина Порфирогенета), или относящегося к неславянским племенам (*берендичи*), материал в лучшем случае охватывает 19 слов. Широкие обобщения, особенно в случае групп меньшего размера, делать рискованно, а между тем автор стремится именно к такого рода обобщениям.

Х. устанавливает четыре словообразовательных типа среди отобранных им этнонимов: бессуффиксные, которые, прибавлю от себя, могут быть или плюральными (*дульби*, *хървати*) или коллективными (*Стъверь*); с суффиксом *-ич-* (тип *кривичи*); с суффиксом *-’ан-* (тип *поляне*); и один случай с суффиксом *-ьц-* (*тиверьци*). По статистике Х. (как увидим не всегда правильной) бессуффиксных названий с восточнославянскими денотатами известно 5 (не считая двух реконструкций Х., хотя две другие реконструкции и включены в этот список, и названия *Русь*), с суффиксом *-ич-* 6, и суффиксом *-’ан-* 7.

Древнейшим слоем Х. считает бессуффиксные образования, опираясь в этом на факт повторяемости их в разных славянских территориях (напр. *стъверь* также в Болгарии, *дульби*/*dudlěb-* также в Чехии, *хървати* [Х. предпочитает форму *хървате*, встречающуюся два раза в Лаврентьевской летописи] также в Югославии и т. д. – ср. Трубачев 1974, 62), а также на наличие вторичных вариантов, уже снабженных суффиксом (напр. *стъверь* и *стъверяне*). Последнее обстоятельство дает Х. видимое основание реконструировать незасвидетельствованные бессуффиксные формы от некоторых суффиксальных: *\*krieva*, *\*dreguva* от *кривичи*, *дреговичи* (ЭПЛ 212), *\*Pol’a* от *поляне* (213), к чему мы еще вернемся. А так как, с другой стороны, по его мнению, “все [кроме двух сомнительных.. G.S.] ...собирательные наименования – это обозначения только финно- и балтоязычных народов... не южных районов северно-восточнославянской колонизации” (168), то и эти реконструированные имена должны найти свою этимологию во внеславянском материале. Хабургаева не смущает то обстоятельство, что *хървати*, хотя и образовано от неславянского корня, никак не входит в обрисованный им ареал, да и *дульби* соприкасается с ним не без натяжки. А в другом месте Х. утверждает, что в славянском мире названия этого типа были именно “наименования славянских [праславянских!] племен или племенных объединений” (ЭПЛ 205).

Второй (она приводится у Х. на третьем месте) и – по Х. – вторичной группой восточнославянских этнолингвистических образований являются названия с суффиксом *-ич/у/*. Он датирует их “с IX века” (ЭПЛ 214), а функцию их видит в отражении генетической связи “относительно новых лингво-этнических образований с иноязычными по происхождению, славянизированными племенными объединениями”, так что “производящая основа должна [! G.S.] указывать на этнический субстрат” (ЭПЛ 214); несколько проще формулировка в СРЯ 96: этнонимы на *-ичи* воспринимались (Х. известно, как они воспринимались!) “в плане генетической связи с неславянским населением”. Этот постулат требует в каждом случае вывода первоначальной бессуффиксной основы неславянского происхождения, что и сделано, как мы видели выше, для кривичей и дреговичей, но не сделано – почему? – для радимичей, вятичей и уличей. Как видно, утверждение о неславянском происхождении производящей основы по отношению к этим названиям (три из пяти; шестое – *берендичи* – сомнения не вызывает) применяется с трудом или вовсе не применяется. К кривичам и дреговичам мы еще вернемся.

Наконец, третья группа, с суффиксом *-'ан(е)*, характеризуется как образования от географических имен собственных (ЭПЛ 213), в Восточной Европе “активизирующихся... примерно с VIII в.”. Во имя этого утверждения, чтобы найти объяснение для этнонима *поляне*, реконструируется гипотетическое географическое имя собственное *\*Pol'a*; при этом нигде не говорится, является ли оно, по мнению автора, формой множественного числа – современное русское *поля* или собирательным образованием женского рода единственного числа *\*пóля*, равно как *Дерева*. А *Съверь*, который был трактован как название племени или племенного образования, теперь превращается в территориальное (географическое) имя собственное. При этом утверждение о том, что все собирательные этнонимы Повести временных лет были балто- или финноязычными и сосредоточивались “не южнее районов северо-восточной колонизации”, забывается; очевидно, считается невыдвинутым.

Вся эта путаница повторяется с некоторыми вариациями на стр. 83–99 СРЯ, на этот раз с одобрения Министерства и т. д. Но мало того, что Х., как уже упоминалось, делает широчайшие обобщения на основе статистически недостаточного количества этнонимов (несистематически упоминаемые славянские этнонимы из других источников далеко не охватывают всех известных, хотя использовать их было легко, даже не обращаясь к первоисточникам; они перечислены, например, в работах Нидерле и Трубачева 1974, 55, которые предполо-

жительно были X. известны – он ссылается на них, напр., на стр. 15, 61 в СРЯ – а также у не упоминаемого им Роспонда 1968, 10 и далее) и что он нередко сам себе противоречит. Сплошь и рядом его утверждения языковедчески безграмотны. Ограничусь несколькими примерами.

Начнем с реконструированных им \**Pol'a*, \**Dereva* (форма, которая тоже снабжена звездочкой, хотя цитируется из Повести временных лет) / *Derevlja*, \**Krieva* и \**Dreguva*. Несуществующая и, надо думать, никогда не существовавшая форма \**Pól'a* (?) выводится из форм косвенных падежей слова *поляне*: *полянь* (dat. pl.), *полями* (instr. pl.) и *поляхъ* (loc. pl.). Подобных \**Pol'a* X. мог бы “реконструировать” гораздо больше. Напр., в записи 1177 р., относящейся к балтийско-славянской территории, находим лок. множ. ч. *Lessaz* = \**Lěšas* от \**lěšane*; в старочешском *Dolaz* = \**Dolas* от *dol(j)ane* и т. д., на основании чего X. мог бы реконструировать такие то ли племенные, то ли территориальные славянские наименования, как \**Lěša*, \**Dol(')a* и т. д. В сербском тексте 1189 г. находим *građam dubrovčamъ*, т. е. “гражданам дубровчанам” (= гражданам Дубровника). Здесь можно бы было “реконструировать” “финно- или балтоязычные наименования племен или территориальных имен собственных” \**građa* и \**dubrovčā*!

Таковыми формами pluralis кишат не только Повесть временных лет, а и старочешские, древнесербохорватские и др. памятники, а в словинском языке до сих пор употребляется тип склонения *Dutovljan* “житель Дутовля”, дат. мн. ч. *Dutovljam*, инстр. мн. ч. *Dutovljami*, лок. мн. ч. *Dutovljah*. О причинах этих явлений X. мог бы прочесть, напр., в статье В. Венгляжа “Staroczeski loc. pl. na -as w nazwach miejscowych na -any” (*Slavia occidentalis* 12, 1933); вошло объяснение таких форм в общие компендиумы по славянской исторической фонетике, напр., Vaillant 1950, 147 и 1958, 189; ПС 323. Несколько неудобно повторять эти простые вещи на страницах научного журнала, но приходится напомнить, что в известный период существования праславянского языка при стечении двух носовых согласных первый выпадал. От *поляни* в dat. pl. из \**poljan-m-* нормально возникала форма *poljam-*, а под влиянием формы дат. мн. ч. *n* терялось и в творительном и местном падежах. Никакие собирательные имена, да еще балтского или финского происхождения здесь ни при чем. Это относится, конечно, и к *деревлям*. Что касается единичной формы асс. pl. “[иде в] дерева” (Лавр. 54, Ип. 43), то это скорее всего вторичное образование от форм дательного и других косвенных падежей и/или от прилагательного *деревьск-*.

Не выдерживают критики и реконструкции *\*krie-v-a* и *\*dreg-uv-a*. Чисто фонетически *\*krieva* не могло бы дать славянского *крив-*; по меньшей мере следовало бы реконструировать *\*kreiva*. Но в этой форме *v* не может быть этнонимическим суффиксом, каковым является *-uv-*, как например, в (литовском) *Lietuvà* 'Литва', да и с балто-славянской перспективы *v* выступает здесь как часть корня. В случае *\*dreg-uv-a* с суффиксом благополучно, но заимствование из литовского (балтского), признания которого требует теория Х., принять трудно, так как литовский имеет форму *drėgnas* 'влажный', но не дает форм с суффиксом *-uv-*. Украинское *дряговина* 'болото' скорее всего заимствовано из белорусского диал. *драгва*, но белорусское литературное *дрыгва* по-видимому ведет к *\*dr̥g(ʰ)v-*, чему может соответствовать во втором слоге и форма, приведенная у Константина Порфиrogenета *Δρουγουβιτ-*, если полагаться на ее фонетическую точность (ср. Shevelov 1971, 155). Форма *\*dreg-uv-a* не так нелепа, как *\*Pol'a* или *\*Kriua*, но представляет большие фонетические и морфологические трудности, которых Х. не замечает (или предпочитает не замечать). Наконец, если кривичи и дреговичи выводятся из собирательных на *-va*, то почему от *Литва* не выведена форма *\*литовичи* или *\*литвичи*?

Странные истории происходят на страницах ЭПЛ с суффиксом *-ит-*. Суффикс этот в современных славянских языках част в прилагательных (*серд-ит-ый*, *знамен-ит-ый*), но встречается и в *nomina agentis* (*наймит*, белорусское *варажбит* и др.). Распространенный суффиксом (притяжательным?), т. е. в форме *-j-*, он приобрел большую продуктивность в функциях (семантически связанных между собой) уменьшительности, отчества, принадлежности к коллективу, в том числе и племенному. В русском языке среднего периода выступает своеобразное чередование *-ич-* < *\*-itj-*) во множественном числе: *-ит-* в единственном числе, типа *москвичи*: *москвитин*, *псковичи*: *псковитин*. Объясняется ли употребление формы *-ит-* в единственном числе потерей *j* перед *-i-* в этом частном случае или сохранением старой формы в единственном числе, но, безусловно, был прав Унбегаун (1935, 287), утверждая, что "это соотношение – очень древнего происхождения и должно восходить к доисторической эпохе, когда зубной *t* еще не изменился в группе *tj*", т. е., прибавим, не позже 8 века. Было ли это чередование в праславянском языке диалектным или всеобщим, но сохранившимся только в русском, установить пока не удалось. Возможно, что оно относилось и к восточнославянским племенным наименованиям на *-ичи*. К сожалению, в сохранившихся источниках они, как известно, выступают только во множественном числе. Все

это – вещи не новые. О суффиксах *-it-* и *-itj-* Х. мог бы прочесть почти в каждой “сравнительной грамматике” славянских языков, например, хотя бы у Вондрака (1924, 595–600).<sup>5</sup>

Но Х. западных книг не читает. Упомянув в ЭПЛ 192 “инославянские” (т. е. не восточнославянские) названия племен типа *ободриты*, известные из греческих и латинских источников, он заявляет, что такого суффикса нет и что это, мол, просто результат того, что в греческом и латинском письме не было возможности воспроизвести звук *ч'*. Не говоря уже о том, что в западнославянском здесь не могло бы быть *č'*, а было бы *c'*, которое воспроизвести как *ts* не так уж было и трудно (А Константин Порфиригенет воспроизводит так и *č*, напр., *Τζερνιγωυ-* ‘Чернигов’ – Shevelov 1971, 155), поражает утверждение о невозможности суффикса *-it-* в этнонимах. Но еще удивительнее, что на той же странице – но в примечании – Х. приводит чередования типа *костромич*: *костромитин* и заканчивает весь ход изложения заявлением, что в таком случае “греко-латинская [!? G. S.] транслитерация суффикса *-ич-* (посредством *-it-*) в образованиях множественного числа оказывается естественной”. Прочел ли он в промежуток времени между написанием основного текста и примечания Унбегауна? Нет, он ссылается на компилятивную статейку И. Козырева в популярном журнальчике “Русская речь”. Все-таки, хоть и лыком шитое, но свое, а не западное!

Есть много других странностей в этнонимике Хабургаева. Чередование *e : o* в формах *вольняне ~ вельняне* оказывается индоевропейским чередованием *e* с *o*, причем *e* “отражает более раннюю ступень” (ЭПЛ 179) и характеризует наименования племен и областей, а *o* – городов, – утверждение, которое не подкреплено никакими доказательствами или примерами. Забывая о своем собственном положении, что первоначально в названии области корневой гласный был *e*, на стр. 145 Х. серьезно трактует народную этимологию *Волини* как “страны вольнок” и принимает неудачную этимологию, предложенную Р. Нахтигалом, этнонима *дульби* как своеобразного образования, состоящего из славянского *dudla* “дудка” (как параллель и эквивалент волынки) и германского *-aib-* ‘ragus’ (не 1956, как пишет Х., а 1951, стр. 95–99, а не 95–96), отбрасывая более заслуживающие внимания этимологии Фасмера и Трубачева (1974, 53).

Оставляя в стороне другие ошибочные формулировки в работах Х.,<sup>6</sup> отмечу только его странную теорию, что летописное *словѣне* было чуждо “древнерусскому языку” и принадлежало к “русскому изводу церковнославянского языка” (ЭПЛ 221), а введено было летописцем для того, чтобы подчеркнуть славянизацию неславянских по проис-

хождению новгородцев (222). Все это опирается на то, что нормальная восточнославянская форма должна была бы звучать \**словляне* (как *древляне*). Если бы Х. обратился к другим славянским языкам, он увидел бы, что этот случай надо рассматривать на фоне более широкого взаимодействия суффиксов *-(j)ān(īn)- -ēn(īn)-* (ср. ПС 259).

В общем итоге анализ восточнославянских племенных названий, произведенный Х., обилует ошибками и ни по количеству привлеченного материала, ни по его анализу не может служить подтверждением общих взглядов Х. Если рассматривать развитие от распада праславянского языка до образования русского языка как научный вакуум, то Х. пытается заполнить его лингвистическим мифом племенных языков, потемкинской деревней единого “древнерусского языка” и возвращается к шахматовской фантастике трех территориальных групп, концепции, которая в свое время сыграла и полезную роль, смело раздвинув традиционные узкие рамки языковой реконструкции, но давно уже должна была быть сдана в музей преждевременных обобщений, как крылья Икара в их отношении к современной авиации.

О работах Х., несмотря на их отдельные положительные черты, можно было бы не говорить, если бы они не характеризовали этап в развитии и современное состояние известного сектора советской славистики. Здесь не место писать историю этой дисциплины, но в обобщенных и упрощенных чертах можно, начиная с 30-х годов говорить о таких этапах (до конца 20-х годов языкознание в России еще не было советским, хотя и существовало при советском строе): этап марризма, когда пресерьезно выводили все языки мира из четырех первоэлементов *сал – бер – йон – рош*; этап сталинизма, когда не менее серьезно обсуждали и обосновывали “курско-орловскую основу” русского литературного языка; затем наступила светлая полоса “режима” Виноградова, когда торговцы изгонялись из храма и медленно, со скрипом, но все шире открывались окна на запад; и, наконец, современный этап, стремящийся воскресить допетровскую ксенофобию и стимулировать великороссийский национализм с его ассимиляторскими поползновениями. Книги Х. принадлежат к этому этапу. При всем отличии жанра, тематики и объема есть внутреннее сродство между ними и энциклопедией “Русский язык” под редакцией Ф. Филина. Соответственно, если современный этап нуждается в имени, быть может, его назовут этапом филинизма. Ориентированные на “антизападность” и нередко невежественные публикации этого периода снова стремятся вырвать русскую и вообще советскую лингвистику из общего хода развития лингвистики мировой. Работы Х., еще не худшие среди однонаправленных, важны не своими научными результа-

тами. Они заслуживают внимания в первую очередь как одно из проявлений общих “веяний” (как обычно, у ученика более ярко выраженных, чем у учителя).

Разумеется, эта характеристика не относится ко всем деятелям и направлениям русского языкознания в Советском Союзе. Есть там много оригинального, ценного и дерзающего. Но “хорошо ведущие себя мальчики” и соседящие с ними ловкие дельцы принадлежат к наиболее бросающимся в глаза. Их охотнее всего издают университеты и “допускают” министерства. Излишне говорить, что они ведут науку во венаучность.

Возвращаясь к проблемам становления русского языка: если Х. искренне и честно хочет продвигаться к разрешению этих проблем, он должен не забывать о более простом и лучше ведущем к цели пути: не построение общих схем на минимуме фактов, а строгое и документальное обследование языкового развития на определенной территории, для русского языка в первую очередь ростовско-суздальско-московской, в его последовательности и преемственности, а затем рязанской (Новгород едва ли непосредственно выявит такую преемственность в результате истребления и сгона его населения при московской оккупации). При таком подходе факты выстраиваются в поразительно ясную цепь структурно-мотивированных языковых изменений – и при этом без малейшего отрыва от истории земли и народа. Попыткой применения такого метода – метода прослеживания территориальной последовательности и преемственности была – для украинского языка – ИФУ. При этом массу неиспользованного и ценного материала дают памятники древнего и среднего периодов (которыми Хабургаев за очень редкими исключениями не пользуется).

Такая работа не проделана для русского языка. Этому препятствовали имперские концепции, извращающие и насилующие факты, часто опирающиеся на факты, безразличные для истории русского языка, – и так от Шахматова до... Хабургаева. А между тем именно от такого рода работы можно ожидать построения объективной, научной и открывающей новые горизонты истории русского языка и в частности истории его становления. Пока такая работа не проделана, историческое пространство между праславянским и русским языком остается незаполненным.

*Нью-Йорк*

## Сокращения

ИФУ – *A Historical Phonology of the Ukrainian Language* – ср. стр. 356.

ПС – *A Prehistory of Slavic* – ср. стр. 355.

ПФБ – *Problems in the Formation of Belorussian* – ср. стр. 356.

СРЯ – *Становление русского языка* – ср. стр. 353.

ЭПЛ – *Этнонимы Повести временных лет* – ср. стр. 353.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Можно догадываться, почему Х. не знает или не хочет знать работ дореволюционного времени и западных. Менее понятно то, что не одно из его “новшеств” находится в статье Трубачева (1974), которую он знает, на которую ссылается несколько раз, но далеко не во всех тех случаях, когда следует его взглядам или просто повторяет их.

<sup>2</sup> Другое такое звено – отнесение формирования трех восточнославянских языков к 14 веку. Если их формирование определялось политическими границами того времени, то белорусский язык не должен был бы существовать, а должен был бы образовать единство с украинским к востоку от польской границы. Но так как эта проблема не существенна для истории русского языка, я не останавливаюсь на ней в этой статье.

<sup>3</sup> Опускаю пункт 4 Хабургаева, так как он просто фактически не верен. Есть все основания полагать, что в большей части протоукраинских говоров всеобщая палатализация согласных перед гласными переднего ряда никогда не осуществлялась. См. ИФУ 181, 185.

<sup>4</sup> Не останавливаюсь на том, что пункт 7 в отношении рефлекса *ε* в 11 в. по-видимому не был общевосточнославянским, – см. ИФУ 135–137, 63–70, а также Wexler 104.

<sup>5</sup> Другое объяснение для племенных наименований на *-ишы* предлагает Мошинский (1979, 240). По его мнению, племенные названия с суффиксом *-itj-* могли быть заимствованы германцами еще до перехода *tj > c*, в такой именно форме сохранялись в германской устной речи и поэтому так и были зафиксированы в источниках, писанных немцами. В принципе такое объяснение вполне возможно, но тогда надо было бы применить его и к южнославянским племенным названиям, выступающим в греческих источниках. В целом однако вопрос о взаимоотношении суффиксов *-ит-* и *-ич-* в восточнославянском заслуживает дальнейшего изучения. Интересны, например, факты, записанные в украинских говорах Западного Полесья, где выступают формы типа *найміч* в соответствии общелитературному *наймит* (Никончук 1980, 52).

<sup>6</sup> А их немало. Вот еще несколько примеров: югозападнорусские формы местоимений *тая*, *тоя*, как показывает и ударение и исторические источники, возникли во взаимодействии с именами прилагательными, а не с местоимениями *моя*, *мое* (ЭПЛ 41); в греческих словах, как их цитирует Х. сплошь и рядом отсутствуют диакритические знаки (напр., ЭПЛ 98); труд Константина Порфиrogenета *De administrando imperio* Х. по-видимому считает рукописью, дошедшей до нас в оригинале (ЭПЛ 186); болгарское *грьд* “грудь” приводится как параллель русскому *гордый* (СРЯ 71); Х. не известны польские формы с *l'* и *j* после губных (СРЯ 73, ср. ПС 221); в литовском и латышском Х. смешивает единственное число с множественным (СРЯ 97); *Польша* – не собирательное наименование (ЭПЛ 170), а преобразование формы *Polska*, по происхождению имени прилагательного; и т. д. Небрежность? Или “плоды неспросвещения”?

## БИБЛИОГРАФИЯ

Аванесов, Р. И.: 1955, ‘Фонетика’, в кн: *Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот*, Москва, 79–102.

Bilinsky, Y.: 1978–1980, ‘The concept of the Soviet people and its implications for Soviet nationality policy’, *The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.* XIV, 87–133.

Eichler, E.: 1965, *Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neisse*, Akademie-Verlag, Berlin.



- Gluskina, S.: 1966, 'O drugiej palatalizacji tylnojęzykowych w rosyjskich dialektach północno-zachodnich', *Slavia orientalis* XV, 475–482.
- Глускина, С. О.: 1968, 'О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке', *Псковские говоры* II, Псков, 20–43.
- Ипатьевская летопись: 1962, *Полное собрание русских летописей* 2, Академия наук СССР, Институт истории, Изд. восточной литературы, Москва.
- Komárek, M.: 1958, *Hláskoslovi (Historická mluvnice česká I)*, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
- Komárek, M.: 1963, 'Gebauerovo historiké hláskoslovi ve světle dalšího bádání', in: Jan Gebauer, *Historická mluvnice jazyka českého*, Československá Akademie Věd, Praha.
- Krajčovič, R.: 1975, *A Historical Phonology of the Slovak Language*, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.
- Курилович, Е.: 1962, 'О некоторых фикциях сравнительного языкознания', *Вопросы языкознания*, вып. 1, 31–36.
- Лаврентьевская летопись: 1962, *Полное собрание русских летописей* 1, Академия наук СССР, Институт истории, Изд. восточной литературы, Москва.
- Moszyński, L.: 1978, 'Głos w dyskusji nad pochodzeniem nazwy plemiennej Obodryców', *Opuscula polono-slavica*, Wrocław, 235–243.
- Nahtigal, R.: 1951, 'Dudleipa – Dudlěbi – Dulěbi', *Slavistična revija* IV, 95–99.
- Никончук, М.: 1980, 'Суфікс \*-ичь у говірках правобережного Полісся', *Українське мовознавство* 8, 50–54.
- Rospond, S.: 1968, 'Struktura pierwotnych etnonimów słowiańskich', *Rocznik slawistyczny* XXIX, 9–28.
- Shevelov, G.: 1971, *Teasers and Appeasers. Essays and Studies on Themes of Slavic Philology*, Wilhelm Fink, München.
- Shevelov, G.: 1977, 'On the Chronology of *h* and the New *g* in Ukrainian', *Harvard Ukrainian Studies* I, 2, 137–152.
- Соболевский, А.: 1907, *Лекции по истории русского языка*, Москва.
- Stieber, Z.: 1974, *Świat językowy Słowian*, Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa.
- Трубачев, О.: 1974, 'Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян', *Вопросы языкознания*, вып. 6, 48–67.
- Unbegaun, B.: 1925, *La langue russe au XVI<sup>e</sup> siècle (1500–1550)*. 1. La flexion des noms, H. Champion, Paris.
- Vaillant, A.: 1950/1958, *Grammaire comparée des langues slaves*. I. Phonétique; II. Morphologie. Flexion nominale, IAC, Lyon.
- Vondrák, V.: 1924, *Vergleichende slavische Grammatik*, I., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- Wexler, P.: 1977, *A Historical Phonology of the Belorussian Language*, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.